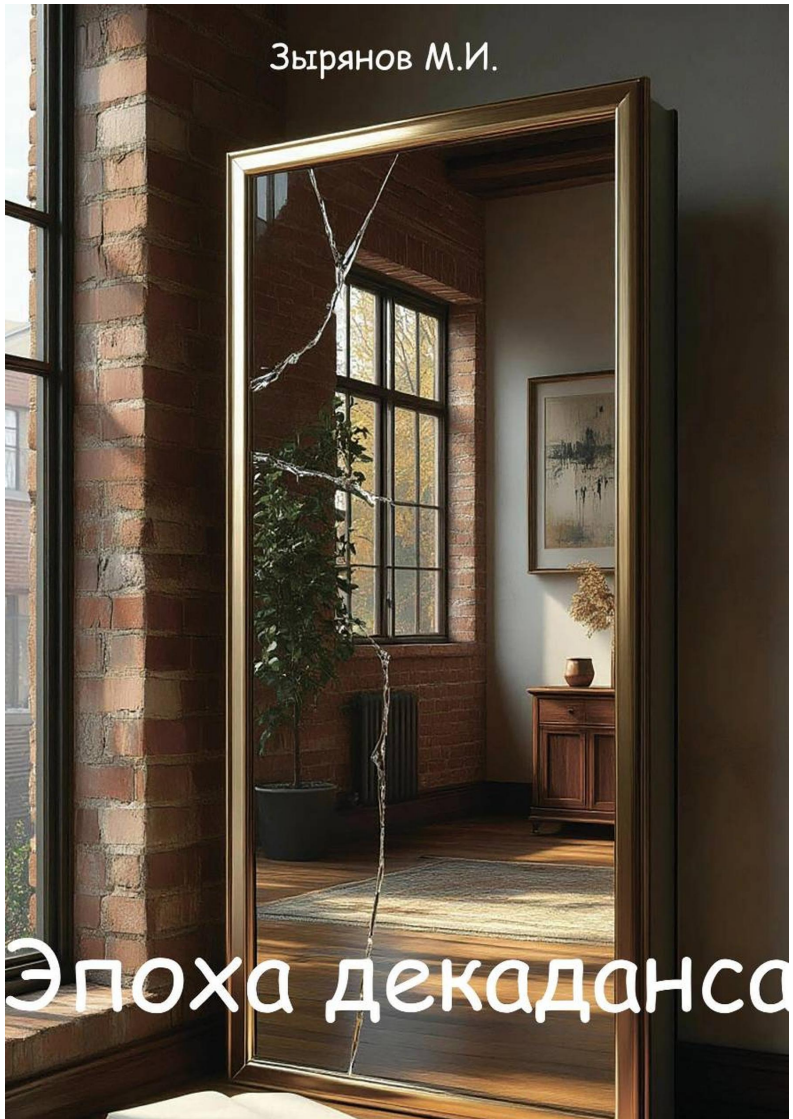


Зырянов М.И.

Эпоха декаданса



Максим Зырянов

Эпоха декаданса

<https://litres.ru/74624764>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мы живём во времена, когда полки ломаются — а руки пусты. Когда возможно всё — а хочется одного: чтобы отпустило. Красота продаётся по акции, чувства — по подписке, а жизнь работает фоновой музыкой, которую никто не слушает.

Мы смотрим в светящиеся прямоугольники и не видим лиц напротив. Слова проскальзывают мимо, как вода сквозь пальцы. Гонимся за светом вдалеке — не замечая, что он погас за спиной.

Эта книга — про нас. Про тихое, вежливое безумие, которое мы называем жизнью. Про наивность, что цепляется за иллюзии, как утопающий за соломинку. Про абсурд, ставший настолько обыденным, что мы его не замечаем — как шум холодильника.

Здесь не будет героев в доспехах. Будут люди. Обычные, как мы. Те, кто хотел — и струсил. Те, кто бежал — и не добежал. Те, кто терял — и искал годами.

Здесь не будет морали. Будет зеркало.

Содержание

Глава 1 Предисловие	4
Глава 2 Стрекоза	7
Глава 3 «Грим. Выход. Мотор.»	22
Глава 4 Пожиратель	33
Глава 5 Комиссар Вейцман	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Максим Зырянов

Эпоха декаданса

Глава 1 Предисловие

Есть вещи настолько обыденные, что мы перестаём их замечать. Как чайник. Как разношенные тапки, которые уже сами знают дорогу к дивану. Как то, что солнце каждое утро вылезает из-за горизонта, будто нехотя, будто его будильник достал.

Вот сидят на кухне два приятеля — Матвей и Роман. Чай. Вечер. Ничего не предвещает. Разве что батон зачерствел да кот подозрительно долго смотрит на стол.

— Слушай, — говорит Матвей, отставляя чашку с видом человека, который только что открыл теорию относительности. — Вот мы с тобой разговариваем...

— Разговариваем, — кивает Роман, не отрываясь от печенья.

— И ты меня понимаешь.

— Понимаю. Пока что.

— Мы ведь не договаривались! Не заключали контракт! Не ходили на курсы «Как понимать Матвея за 10 занятий»! А просто — бац! — и понимаем друг друга. Мгновенно. Без перевода.

Роман подозрительно щурится — не подсыпал ли кто ему в чай чего покрепче заварки.

— Ну и что?

— А то, что это дичь какая-то! Я говорю «что-то» — и мы оба знаем, что это «что-то». Не стол. Не кот. Не тот носок, который пропал в стиральной машине ещё в марте. Просто — «что-то». И всё, вопросов нет!

Роман молчит. Смотрит в кружку так, будто надеется найти там ответ — или хотя бы ещё одну печенку.

— И что?

— Да ничего, — вздыхает Матвей. — Просто заметил. Мы разговариваем — и понимаем друг друга. Это же натуральное чудо! Только мы к нему привыкли, как к пробкам на дороге.

Роман усмехается, отхлёбывает чай с видом знатока.

— Чудо, значит. В кружке с отколотой ручкой.

— Именно! И в слове «что-то». И в том, что мы вообще тут сидим, а не на необитаемом острове в окружении кокосов. И в том, что ты меня сейчас слушаешь. Не завтра. Не «как-нибудь в следующей жизни». А прямо сейчас, хотя мог бы листать ленту.

Повисает пауза. Не неловкая — скорее, философская, с лёгким привкусом бергамота. В этой тишине есть что-то такое... не пустота, не неловкость, а будто сама Вселенная сделала глоток чая и призадумалась.

— Ещё чаю? — спрашивает Роман, нарушая космическую

тишину самым прозаичным образом.

— Давай, — отвечает Матвей.

И это тоже, между прочим, чудо. Но говорить об этом вслух они, конечно, не станут. Просто подольют кипятка. Просто отхлебнут. Просто будут сидеть вдвоём на этой маленькой кухне, где вселенная — пусть и по-домашнему, пусть и с закопчённым чайником — ежесекундно творит что-то невероятное.

А кот, наконец решившись, спрыгивает на стол и крадёт печенье. Тоже, в своём роде, чудо. Хотя Матвей с этим явно не согласится.

Глава 2 Стрекоза

1

Они стояли у школы — там же, где во все века и во всех странах стоят выпускники: с воздушными шариками, уже наполовину сдувшимися, точно в насмешку над свежееиспечёнными мечтами, и с белыми бантами, из-под которых торчала плохо скрываемая решимость наконец начать жить по-настоящему. Сергей держал Лику за руку так крепко, будто предчувствовал: отпустишь на мгновение — и улетит, как тот самый шарик, прямиком в чужое небо. Как в воду глядел, честное слово.

Директор школы вещал про «дорогу в будущее» с интонацией человека, который произносит эту речь двадцать пятый год подряд и давно перепутал её с инструкцией к стиральной машине — «извлеките бельё, дайте высохнуть, начните жизнь заново». Родители вокруг снимали происходящее на телефоны — банты, слёзы, воздушные шары, — чтобы вечером выложить в соцсети с неизменной подписью «Как быстро летит время», не замечая горькой иронии: время действительно летит, а вот подписи под фотографиями не меняются уже лет десять.

Лица стояла в этой нарядной, пахнущей цветами и духами толпе и чувствовала, как её будущее аккуратно, линия за линией, разлиновывается на клеточки. Ровные. Скучные. По-

жизненные. Словно тетрадь, в которой заранее решено, что именно ты напишешь, — и даже почерк тебе не принадлежит.

Сергей тем временем рассказывал о доме, о детях, о том, как они заживут — скромно, но дружно, точно в рекламе растворимого супа за тридцать рублей, где актёры улыбаются так, будто этот суп — вершина человеческого счастья. Лика слушала и отчётливо слышала, как где-то в отдалении забивают последний гвоздь в крышку гроба её юности. Дом. Суп. Телевизор. Сон. Повтор. Жанр — тоска, возрастной ценз — шестнадцать плюс, хотя, если по-честному, скучно в любом возрасте.

Она посмотрела на его руки. Обычные. Без перстней, без «Ролекса», даже без намёка на то, что однажды в них можно будет уместить отпуск на Мальдивах. Руки, которые умели разве что держать и греть. А грелка ей была без надобности — ей хотелось пожара. Желательно с фейерверком, шведским столом и, по возможности, прямой трансляцией в сторис — чтобы все видели, как она горит.

— Ты меня слушаешь? — спросил Сергей.

— Слушаю, — соврала она с лицом отличницы, которая на самом деле давно дорешала контрольную и думает исключительно о перемене.

И тут, словно по заказу голливудского сценариста, окончательно отчаявшегося придумать что-то новое, из-за поворота вывернула чёрная тонированная машина — с музыкой та-

кой оглушительной громкости, что соловьи в соседнем парке единогласно подали коллективное заявление об увольнении.

— Эй, красотка! Шашлык! Вино! Деньги! — донеслось из приоткрытого окна голосом, в котором безошибочно угадывался будущий кредит под четыреста процентов годовых и пара приводов в полицию.

Лица взглянула на машину, на золотые цепи толщиной с якорную, на растерянного Сергея — и улыбнулась ему той самой улыбкой, какой обычно одаривают официанта, уходя без чаевых: вежливой, безличной, уже мысленно находящейся совсем в другом месте. Отпустила руку. Села в тонированный рай, даже не хлопнув дверцей — просто растворившись в басовых волнах чужой музыки.

Машина унесла её напрямиком в главу вторую, а Сергей так и остался стоять посреди школьного двора — с ладонью, которая ещё час хранила чужое тепло, и с твёрдым осознанием, что жизнь только что подарила ему бесценный подарок: пожизненный иммунитет к красивым, но пустым обещаниям. Как потом окажется — подарок на вырост.

2

Ей было восемнадцать. Ему — пятьдесят пять: сигара толщиной с хорошую сардельку, перстень размером с крышку от кастрюли и одеколон такой концентрации, что перебивал даже стойкий запах денег, пропитавший каждый угол кабинета. Звали его Марк, и было совершенно ясно: чёрный пояс по «решению вопросов» он получил ещё в лихие девяностые

и с тех пор ничуть не растерял квалификации.

Кабинет тонул в полумраке — тяжёлые шторы, кожаное кресло, массивный стол, пепельница размером с приличную тарелку для салата. Марк сидел и смотрел. Не вставал, не предлагал сесть — будто перед ним была не живая девушка, а курьерская доставка, которую следовало принять и распи-саться в получении.

— Хочешь славы? — спросил он, не меняя позы.

— Хочу, — ответила Лика с уверенностью, достойной куда более благородного применения.

— А что ты умеешь?

Пауза повисла в воздухе, красноречивая, как минута молчания на похоронах несбывшихся амбиций.

— Ничего, — констатировал Марк без малейшей тени разочарования, будто услышал ровно то, что и ожидал. — Научим.

Он поднялся, подошёл, взял её за подбородок, повернул лицо, точно сомелье изучает бокал вина перед дегустацией, и наконец вынес вердикт:

— Красивая. Пойдёшь.

И она пошла. Сначала на кастинг. Потом — на операционный стол, который стал для неё вторым домом задолго до того, как появился первый.

Стол был холодным и белым, лампы слепили так ярко, что хотелось зажмуриться и больше никогда не открывать глаза. Но она не закрыла — смотрела в потолок, считала трещины.

Их было немного: три, может, четыре, и это почему-то успокаивало, как считают овец перед сном. Хирург бубнил что-то про импланты, про размер, про то, как «будет красиво» — словами, которые произносят механически, как заклинание, потерявшее смысл от частого повторения. Она не слушала — слушала холод, разливающийся по телу вместе с наркозом. Игла вошла тихо, почти незаметно — как предательство, которое узнаёшь только спустя годы.

Через неделю — синяки цвета заката, которым позавидовал бы любой художник-импрессионист. Через две — швы, похожие на небрежную вышивку неумелой швеи. Через месяц — новое тело. Красивое. Абсолютно чужое, будто наде-тое не по размеру платье, которое всё равно придётся носить.

Марк приходил, осматривал её, как прораб принимает за-вершённый объект, одобрительно кивал — и уходил к дру-гим. Она знала про измены. Молчала — потому что он дал ей единственное, чего она по-настоящему жаждала: свет софи-тов, пристальное внимание, иллюзию избранности. Просто счёт выставили не в рублях, а в маленьких, почти незамет-ных кусочках души, которые отрезались так же буднично, как парикмахер подравнивает чёлку — щёлк, и ещё немного тебя осталось на полу.

И каждый раз на операционном столе — грудь, ягодицы, губы — она думала: вот оно, наконец-то настоящее. А потом открывала глаза и понимала: снова не то. Снова на полшага дальше от себя самой, чем было вчера, будто шла по лестни-

це, ведущей исключительно вниз, но почему-то казавшейся восхождением.

3

Потом явился олигарх — яхта размером с небольшое прибалтийское государство, шампанское, льющееся так щедро, будто где-то прорвало магистральную трубу с «Вдовой Клико», и мужчина, раздающий обещания луны, звёзд и личного острова в придачу (остров, впрочем, так и остался на уровне устной договорённости, скреплённой разве что бокалом игристого).

Он водил её по палубе, демонстрируя гостям, словно последнюю модель смартфона — блестящую, свежую, прямоком из коробки. Лица улыбалась: работа была получше, чем у стюардессы, хотя сервис на борту откровенно хромал — особенно в той части, что касалась человеческого отношения.

Белые палубы, нескончаемое шампанское, гости в тёмных очках, скрывающих не то похмелье, не то окончательное отсутствие совести, — она была здесь trophy, живым экспонатом, подтверждающим чужую платёжеспособность не хуже свежкупленного «Бентли». Она улыбалась, потому что это было лучше, чем ничего. Лучше, чем серость. Лучше, чем боль — хотя, как выяснилось буквально через месяц, ненамного лучше.

Роман закончился ровно там же, где обычно заканчиваются подобные истории: банальным обманом. Олигарх испа-

рился вместе с содержимым её кошелька, оставив Лику в чужом городе с чувством, будто её только что списали в утиль вместе с прошлогодней яхтенной обивкой — тоже когда-то красивой, тоже безнадёжно вышедшей из моды к новому сезону.

Она стояла на набережной, смотрела на чёрную воду и не плакала. Слезы, как выяснилось, — непозволительная роскошь для тех, у кого ещё теплится хоть капля надежды. У Лики счёт по этой статье давно ушёл глубоко в минус, и банк наотрез отказывал в кредитовании.

4

Дальше был OnlyFans — розовый свет, кольцевая лампа, скромный реквизит маленького домашнего театра одного-единственного актёра. Денег это приносило ровно столько, чтобы хватало на коррекцию последствий предыдущей коррекции — идеально замкнутый экономический цикл, достойный отдельной главы в учебнике по прикладной абсурдологии.

Она садилась перед камерой и делала то, что положено. Не чувствовала ничего — смотрела прямо в объектив и видела там себя: маленькую, глупую, бесконечно пустую. Улыбалась — ровно так, как учили. Потом выключала камеру и сидела в темноте одна, слушая, как за стеной сосед смотрит футбол и живёт, судя по звуку, куда более осмысленной жизнью, чем она.

Будапешт, двенадцать часов съёмок, четыре смены костю-

мов и ни одной свободной минуты на подумать — что, возможно, было даже к лучшему: думать было больше, чем сниматься. Заработанное испарялось быстрее, чем годовой бюджет небольшой африканской страны: такси, рестораны, наряды, надетые ровно один раз для фотографии и навсегда забытые — как неудачный эксперимент, о котором стыдно вспоминать.

В Будапеште случился момент. Один. Короткий, как вдох перед нырком. Она сидела в гримёрке перед зеркалом с чашкой остывающего кофе и смотрела на себя. Не «на себя» в привычном смысле — на то, что из неё сделали. Кожа. Губы. Грудь. Всё чужое. Всё купленное оптом и в рассрочку. Всё — не её. Она смотрела и не узнавала. И в эту секунду — короткую, как вспышка на камере, — почувствовала что-то. Не боль. Не стыд. Что-то третье, безмянное, похожее на эхо давно забытого звука. Тишину — ту самую, в которой когда-то можно было жить спокойно и просто. И которую она привычно не слышала. Снова.

В гримёрке пахло лаком для волос и чужим потом. Кто-то до неё сидел на этом же стуле, смотрел в это же зеркало, улыбался этой же улыбкой. Она не знала, кто. И не хотела знать. Потому что если бы узнала — пришлось бы признать, что она — не первая. И не последняя. И вообще — не «она». А просто — очередная. Та, которую заменят. Как заменяют лампочку. Как заменяют обивку на яхте. Как заменяют всё, что перестало быть новым.

Она допила кофе. Остывший. Горький. И пошла на площадку. Свет. Камера. Мотор. Улыбка. Ещё дубль. Ещё. Ещё.

А потом — такси. Аэропорт. Дом. Пустота. Та же. Что и была. Только чуть глубже. Чуть тише. Чуть ближе к тому, что она не хотела слышать.

Она возвращалась домой — одна, с деньгами, которые тут же растворялись в привычной пустоте. Той самой, которую она упорно пыталась заполнить чужими платежами и собственными необдуманно купками — как затыкают пробоину в лодке жевательной резинкой.

5

Потом явился коуч — инфоцыган в лакированных туфлях, обещавший превратить её в «богиню отношений» за три видеоурока и подписку на телеграм-канал стоимостью как небольшая студия в Подмоскowie.

Он был худ, бледен, с глазами, горящими не светом, а каким-то другим, безмянным огнём — тем самым, что обычно разгорается у людей за несколько секунд до ареста. Говорил быстро и напористо, как человек, прекрасно осознающий, что врёт, и точно знающий: ему всё равно поверят, потому что ложь была именно той, которую хотели услышать.

— Ты — королева! — вещал он, расхаживая перед экраном с пафосом провинциального Наполеона. — Богиня! Требуй! Губы больше, голос громче! Мужчина должен чувствовать: ты не просто женщина — ты приз, трофей, вершина!

Ли́ка слушала и верила — потому что он говорил именно то, что идеально совпадало с формой её внутренней пустоты, как ключ подходит к замку, который слишком долго искал своего вора. Он был единственным, кто обращался к ней не как к телу, а как к перспективному проекту с хорошим потенциалом роста — пусть и дутым, как воздушный шарик из первой главы.

Губы она, разумеется, сделала. Результат напоминал двух рассерженных сарделек, внезапно вышедших на одиночный пикет против законов анатомии. Говорить первое время было затруднительно, зато дышать носом стало настоящим спортивным достижением — почти олимпийским видом спорта, в котором она неожиданно для себя заняла призовое место.

Коуча вскоре арестовали — за оргии и нелегальный бизнес, финал настолько же предсказуемый, насколько предсказуема переменная облачность в питерском небе в середине ноября. Ли́ка вернулась домой одна, с лицом, которое с трудом опознала бы собственная мать, сверяясь со старой фотографией в паспорте.

6

Ресторан был дорогим: свечи, тяжёлые накрахмаленные скатерти, официант с лицом человека, повидавшего на своём веку решительно всё — от брошенных у алтаря невест до неоплаченных по пьяни счетов. Ли́ка сидела напротив очередного кандидата — вполне приличного, с нормальной ра-

ботой, своей квартирой и робким, почти трогательным желанием «серьёзных отношений». Он рассказывал, как много трудится и мечтает найти ту единственную, рядом с которой можно наконец быть собой.

Она слушала, кивала, улыбалась — и считала. В уме, не отрываясь от бокала. Сколько потратит сегодня. Сколько оставит официанту. Стоит ли вообще её драгоценного времени.

— Знаешь, — произнесла она, неспешно отпивая вино, — я не встречаюсь с теми, кто зарабатывает меньше миллиона. Это не каприз. Это стандарт. Я себя уважаю.

Он замолчал. Не обиделся, не вскочил из-за стола, не хлопнул салфеткой — просто замолчал и посмотрел на неё внимательно, как смотрят на человека, только что произнёсшего фразу, лишённую всякого смысла, но при этом абсолютно уверенного в обратном. В этом взгляде не было злости или осуждения — было что-то совершенно иное, безмянное, похожее на тихое сожаление. То самое, что она давным-давно разучилась замечать. И тем более — слышать.

Он кивнул, поверил, заплатил. Потом ещё раз. И ещё. Потому что суровая реальность — одиночество, работа, вечерний сериал на повторе — куда безрадостнее красивой сказки. А сказка, как выяснилось, стоит всего лишь ужин в приличном заведении — не так уж дорого за иллюзию.

У него было лицо человека, который давно перестал удивляться. Не «усталое». Не «злое». Просто — спокойное. Как

у тех, кто видел всё. И ничему не верит. Но всё равно — приходит. Потому что одному — хуже. Потому что дома — тишина. Та, в которой слышно, как капает кран. Как тикают часы. Как проходит жизнь.

Он смотрел на неё. Не «осуждал». Не «жалел». Просто — смотрел. И в этом взгляде было что-то. То, что она не могла назвать. То, что было всегда. То, что она не слышала. Сейчас.

Он заплатил. Встал. Помог ей надеть пальто. Не «потому что должен». Потому что привык. Потому что так делал его отец. Потому что так делают люди. Настоящие. Те, которых она не замечала. Те, которых она не выбирала. Те, которых она не видела. Сейчас.

Он ушёл. Один. В ночь. В тишину. В свою жизнь. Ту, которую она не заметила. Ту, которую она не выбрала. Ту, которую она не увидела. Сейчас.

Лица ушла сытой, с чеком в сумочке и привычной пустотой где-то в районе солнечного сплетения — там, где у нормальных людей обычно располагается что-то ещё, помимо исправно работающего желудка.

Она шла по вечерней улице — яркие огни, спешащие люди, счастливые парочки — и не чувствовала решительно ничего. Ни зависти, ни боли, ни малейшего желания. Только привычную пустоту, которую безуспешно пыталась заполнить чужими счетами, чужими надеждами и чужими же деньгами — методично, но, увы, безрезультатно.

Однажды она остановилась перед зеркалом и увидела незнакомку. Кожа натянута так туго, что сквозь неё просвечивал не характер, а скорее контурная карта костей. Губы — отдельное архитектурное сооружение, не предусмотренное ни природой, ни хоть каким-то здравым смыслом. Перед ней стоял памятник собственным желаниям, отлитый в силиконе и щедро обработанный филлерами, — монумент, который никто никогда не захочет посещать по доброй воле.

Она вспомнила Сергея — уже без боли, скорее с лёгким недоумением, как вспоминают автобус, на который опоздали в дождливый вечер, а потом случайно узнали, что он благополучно довёз всех пассажиров до тёплого дома, пока ты всё ещё мокнешь на остановке в ожидании чуда.

А Сергей тем временем действительно доехал. Не вдруг, не потому что повезло, а потому что сознательно выбрал свой маршрут. Он не стал миллионером, не превратился в олигарха с личной яхтой, названной в честь очередной пассивности. Он просто занимался своим делом — небольшая дизайн-студия, пара постоянных клиентов, ворчливый, но верный кот на подоконнике. Не особняк — обычная тёплая квартира с книжными полками до потолка и Алисой где-то на кухне, разливающей чай по чашкам с отколотыми ручками, которые почему-то жалко выбрасывать.

Она вспомнила и саму Алису — ту самую тихую мышь в круглых очках, сидевшую в углу класса, никогда не претендовавшую ни на всеобщее внимание, ни тем более на тони-

рованные машины с громкой музыкой. Алиса просто оказалась рядом с Сергеем в тот самый день, когда он остался один — с ладонью, ещё хранящей чужое тепло, и разбитым сердцем в придачу. Она не утешала громкими фразами из сериалов — просто была рядом. Шутила, когда становилось совсем грустно. Молчала вместе с ним, когда слова были лишними. И постепенно Сергей открыл для себя удивительную истину: любить можно вовсе не за блеск и не за эффектное появление из тонированной машины, а за ровный, негаснущий свет — тот самый, что продолжает гореть даже после отключения электричества во всём доме.

Алиса расцвела — не потому что внезапно повезло, а потому что сознательно выбрала простое вместо показного. У них появился дом, который годами не менял адреса. И суп — тот самый, из далёкой рекламы, над которым Лика когда-то презрительно смеялась, — оказался вполне съедобным и даже уютным блюдом, если его варит человек, который действительно тебя любит, а не демонстрирует кому-то на яхте.

А Лика стояла перед зеркалом и видела отражение итога старой-старой басни, которую ей в детстве, похоже, забыли дочитать до конца: лето красное пропела, обернувшись лицом не узнать, а зима настала не метафорой, а вполне реальным счётом от пластического хирурга за очередную «коррекцию».

Она отвернулась от зеркала. В комнате повисла тишина — та самая, в которой когда-то давно можно было постро-

ить дом, вырастить детей и прожить скучную, но настоящую, подлинную жизнь.

Эта тишина молчала долго, терпеливо, не требуя ничего взамен. А Лика так и не научилась её слушать — ни тогда, ни сейчас.

8 (эпилог)

Прошло ещё десять лет.

На родительском собрании в той же самой школе — той, где когда-то стояли белые банты и сдувшиеся шарики, — Сергей и Алиса сидели рядом, держась за руки совершенно буднично, без драмы, как держатся за руки люди, прожившие вместе достаточно долго, чтобы перестать удивляться этому факту. Их сын, рыжий и конопатый, как оба родителя вместе взятые, корпел над контрольной по математике в соседнем кабинете.

Где-то в это же время, в другом городе, в клинике эстетической медицины с приглушённым светом и запахом антисептика, женщина с лицом, пережившим слишком много операций, листала ленту инстаграма в ожидании своей очереди к хирургу. Регистратор несколько раз переспросил её имя, прежде чем правильно внёс в базу — возможно, потому что лицо давно перестало соответствовать документам.

Стрекоза, как известно из классики, пропела лето красное. Вопрос лишь в том, помнила ли она хотя бы мотив той песни — или к финалу уже не могла вспомнить и этого.

Глава 3 «Грим. Выход. Мотор.»

1. Двор

Родился он в месте, которое географы называют «спальный район», а местные — просто «здесь, за трамвайным кольцом, где асфальт заканчивается, а надежды — ещё раньше». Пятиэтажка цвета вчерашней овсянки, разбавленной слезами жилконторы. Тополя каждый июнь устраивали снегопад из пуха — назло аллергикам, роженицам и всем, кто имел неосторожность открыть окно.

Лавочка у подъезда работала без выходных. Это был не просто предмет мебели — это был Генштаб. Совет Безопасности. Бабушки решали судьбы Гондураса, соседей и всего мирового капитализма быстрее, чем ООН успевала открыть повестку дня. Семечки щёлкались с частотой пулемёта.

Звездой двора был не Гриша. Звездой была Светка из второго подъезда. У неё был велосипед «Школьник». Синий. С багажником. С трещоткой, которая объявляла о приближении Светки раньше, чем сама Светка появлялась из-за угла — примерно как королевский герольд, только на двух колёсах.

Мальчишки смотрели на этот велосипед с таким благоговением, с каким смотрят на Мону Лизу — только Мона Лиза не умела делать «восьмёрки» у подъезда.

У Гриши велосипеда не было. Зато у Гриши было оружие

помощнее — рот. Он умел рассмешить бабушку Зину так, что она роняла семечки прямо себе на тапочки, не замечая потери. Дворника дядю Мишу — так, что тот застывал со шваброй посреди двора, как памятник неизвестному дворнику. Даже Светка однажды слезла с велосипеда, чтобы послушать его — хотя, казалось, ради этого должно было случиться что-то посерьёзнее пожара.

Гриша не завидовал. Зачем завидовать железу, когда у тебя в арсенале — весь человеческий фольклор, умение пародировать завуча и врождённый талант падать так, чтобы было смешно, а не больно (в основном).

Летом играли в футбол на асфальте. Ворота — два портфеля, один из которых регулярно пытался сбежать от удара мячом. Дрались. Мирились. Дрались снова — видимо, для закрепления материала.

А вечером — снова лавочка, снова бабушки, снова разговоры про цены и про то, что «при Брежневе хотя бы колбаса была». Гриша сидел рядом и впитывал. Не слова — интонации. Паузы. То, как говорит человек, уверенный, что его никто, кроме соседки, не слышит.

Актёрскую школу он прошёл раньше, чем узнал слово «актёр». Учителями были дворник, три бабушки и один кот с подбитым глазом, игравший роль трагического героя у мусорных баков.

2. Школа

В школьной самодеятельности Гриша был королём. Акто-

вый зал пах пылью, гуашью и несбывшимися мечтами завуча о карьере в Большом театре. Гриша выходил на сцену и начинал кривляться с таким вдохновением, будто ему уже вручили «Оскар», просто пока забыли сказать об этом вслух.

Учителя хохотали в кулак. Техничка тётя Валя останавливалась посреди уборки, опираясь на швабру, как на посох пророка. Даже завуч — женщина, у которой, по слухам, вместо сердца был строгий выговор, — позволяла себе тень улыбки. Тихую. Как будто сама себе запрещала радоваться на рабочем месте.

Гриша играл всё подряд. Петрушку. Кощея. Бабу Ягу (роль далась особенно органично — педагоги потом долго это обсуждали). А в школьном «Гамлете» он один из всего состава был серьёзен — и именно поэтому зал лежал от смеха. Видимо, в этом и заключался секрет датского принца, который Шекспир зашифровал, да так удачно, что его нашли только в актовом зале районной школы.

Бабушка смотрела на эти подвиги скептически:

— Гриша, ну какой артист? Артисты — в Москве. У них зубы белые, а у тебя молочный ещё не весь выпал.

Гриша доедал борщ с удвоенной скоростью и мчался на сцену. Потому что там — свет. Там — аплодисменты. Там, пусть всего на двадцать минут, он был не мальчиком с подъезда, 3-й этаж, квартира направо, а Кем-то.

3. Сериал

Потом случился сериал. Про учителя истории, который

совершенно случайно — ну просто вот так вышло, с кем не бывает — становится президентом страны. Бюджет был скромный: декорации Кремля подозрительно шатались, стоило оператору чихнуть в кадре.

Но страна приклеилась к экранам намертво. Бабушки у подъездов перестали обсуждать соседей — теперь обсуждали «политику Гриши», то есть политику его персонажа, которого, на минуточку, звали Пётр Семёнович, но это уже никого не волновало. Таксисты цитировали реплики из серии в серию. Один гаишник отпустил нарушителя со словами:

— Ладно, проезжайте. Вы прямо как президент из сериала — тоже с совестью. Хотя знак «кирпич», конечно, нарушили как президент из реальности.

На съёмках Гриша выходил под свет софитов и чувствовал себя так, будто кто-то специально сшил для него эту жизнь — по размеру, без скидок на рост и странности характера. Зал смеялся. Зал плакал. Зал любил.

Гримёрка пахла лаком для волос и растворимым кофе. Текст он знал назубок — лучше, чем собственный домашний адрес. «Мотор!» — и он снова был президентом, который не берёт взятку, говорит правду и улыбается с плаката так, что хочется немедленно идти на выборы.

Проблема нарисовалась незаметно, как лишний вес после Нового года: грим с лица снимался исправно. А вот с головы — почему-то всё хуже и хуже.

4. Кухня

Толян — потому что какая Россия без Толяна — сидел на кухне, разделявая воблу с хирургической аккуратностью патологоанатома, которому за это ещё и приплачивают.

Кухня дышала историей: клеёнка в клетку, обои, наклеенные во времена, когда слово «ипотека» ещё не придумали, холодильник, гудевший, как стартующий Боинг.

— Гриш, ты серьёзно? В президенты?

— А чё такого? Я ж его столько лет играл — считай, стаж уже пенсионный.

— Это как если бы актёр, сыгравший хирурга в сериале, пошёл делать операции в настоящей больнице.

— Да ладно тебе, — Гриша пожал плечами с видом полной невозмутимости. — Там кровь, тут кровь. Разница только в том, что в сериале её из пакетика наливают.

Толян посмотрел на него долгим взглядом — так смотрят на человека, купившего в переходе метро путёвку на Марс и уже обсуждающего, что надеть.

— Гриш. Ты не президент. Ты — пацан, который на дискотеке в десятом классе танцевал на столе и смешил весь зал. Ты живёшь не ради решений. Ты живёшь ради аплодисментов.

— Народ хочет своего парня! Простого! С гитарой! — Гриша открыл вторую бутылку с такой решимостью, будто это тоже был предвыборный тезис.

Толян молчал. Долго. Смотрел в кружку, потом на воблу, потом на друга, с которым рос, дрался и мирился примерно

двенадцать тысяч раз.

— Гриш. Ты не слышишь никого. Ни меня, ни себя, ни тех, кто за тебя проголосует. Ты слышишь только аплодисменты. А они, знаешь ли, не вечные. Как и вобла — вон, уже кончилась.

Толян допил пиво, аккуратно поставил бутылку в угол — не хулиган же, — и ушёл. Не хлопнув дверью. Просто ушёл — как уходят люди, окончательно понявшие, что сцена оказалась сильнее дружбы.

5. Кабинет

Гришу выбрали. С перевесом, которого не предсказывал ни один букмекер, ни одна бабушка на лавочке, ни даже кот у мусорных баков. Народ устал, народ хотел перемен, народ хотел своего парня — и получил его. С гитарой, но без инструкции по эксплуатации государства.

Кабинет встретил строгим портретом предшественника, торжественным флагом и креслом — дорогим, кожаным и ужасно неудобным, будто оно само сомневалось в компетентности нового хозяина.

Гриша сел. Покрутился. Кресло издало скрип, похожий на тяжёлый вздох.

На столе лежали бумаги. Он подписывал их с той же уверенностью, с какой когда-то ставил автографы фанатам — не глядя, с эффектным росчерком, достойным отдельной рамки.

— Это что было? — осторожно спросил помощник.

— Указ, наверное. Звучит солидно — «указ». Как будто сам Пётр Первый подмигивает из будущего.

Помощник помолчал, глядя на него так, как смотрят на человека, который явно не понимает, что делает, но делает это с большим артистизмом.

На встречах с важными людьми Гриша говорил красиво, с паузами — ровно теми, что преподавали на актёрском факультете. Важные люди кивали, соглашались, а потом уходили и делали именно то, что планировали ещё до встречи. Гришу это не смущало — ему нравился сам процесс говорения, он бы, наверное, и сводку погоды зачитал с таким драматизмом, что страна прослезилась бы над облачностью.

За его спиной шептались. Называли его «актёром». Не «президентом». Он этого не замечал — привычка не слышать суфлёра сослужила плохую службу именно тогда, когда суфлёр говорил правду.

6. Экран

Война пришла не потому, что Гриша её звал — слово «геополитика» он выучил с третьей попытки и до сих пор путал ударение. Но она пришла.

Он смотрел сводки. Цифры. Линии на карте, за которыми стояли не абстракции, а конкретные дворы, лавочки, тополя и бабушки с семечками — просто в другом городе.

Однажды в сводке мелькнуло фото: мальчик лет семи, рюкзак, велосипед — точь-в-точь «Школьник», только ржавый и без хозяина. Гриша смотрел на это фото дольше, чем

на остальные. Что-то дрогнуло внутри — не страх, не ужас, а узнавание. Будто он сам, маленький, из своего двора, вдруг оказался по ту сторону экрана.

А рядом с велосипедом лежала кроссовка. Маленькая. С оторванным задником. Такая же, как у него была в первом классе — он тогда просил у бабушки новую, а она говорила: «Доноси эти, Гриша, не бере». Он донашивал. И кроссовка была. И велосипед был. И мальчик был. А теперь — нет. Только фото. Только цифры. Только сводки.

Гриша смотрел на эту кроссовку, и внутри что-то сжималось. Медленно. Тихо. Как будто где-то далеко, в другом городе, в другом дворе, умер не мальчик. А он сам. Тот, семилетний. С оторванным задником. С мечтой о велосипеде. С бабушкой. С борщом. Со всем, что было.

Он выходил к народу, говорил красивые речи про мир и победу — теми же интонациями, какими его сериальный герой объяснял, почему не берёт взятки. Народ слушал. Верил. Потому что хотел. Потому что устал. Потому что кто-то же должен быть на сцене.

Генерал — седой, усталый, с морщинами не от возраста, а от того, что видел слишком много и слишком близко, — однажды не выдержал. У него было лицо человека, который давно перестал удивляться. Не злое. Не усталое. Просто — спокойное. Как у тех, кто видел всё. И ничему не верит. Но всё равно — делает. Потому что больше некому.

Глаза — серые. Тусклые. Как будто в них давно погас свет.

Но где-то в глубине — ещё тлело. То, что не давало ему уйти. То, что держало. То, что было — совестью. Или тем, что от неё осталось.

— Григорий Степанович. Вы вообще понимаете, что происходит?

— Конечно. Мы боремся за...

— Вы не боретесь. Вы играете борца. — Генерал смотрел прямо, без ненависти, с усталой прямоотой человека, которому больше нечего терять, кроме, собственно, терпения. — Только декорации теперь настоящие. И кровь настоящая. И дети настоящие. А вы всё ещё ждёте, когда зал заплодирует.

Он помолчал. Потом — добавил. Тихо. Почти шёпотом:

— Я двадцать лет служу. Двадцать. Я хоронил своих. Я писал письма матерям. Я говорил им, что их сыновья погибли за родину. И я верил. Пока мог. А теперь — не могу. Потому что я вижу, что они погибли за вашу роль. За вашу сцену. За ваши аплодисменты. Которых вы всё ещё ждёте.

Гриша молчал. Пауза, многозначительная, как его учили. Внутри было пусто — как в кармане студента перед стипендией, как в зале через час после спектакля, когда уборщица уже выключает свет.

7. Бункер

Он остался один. Серые стены, свет настолько тусклый, что даже тараканы писали коллективную жалобу на условия труда.

Он смотрел на свои руки. Те самые, которыми когда-то

щёлкал семечки на лавочке, обнимал бабушку, кривлялся на сцене — а потом подписывал указы, не читая.

Вспомнился двор. Тополиный пух. Бабушка Зина с просыпанными семечками. Толян с воблой и правдой, которую не хотелось слышать. Светка с велосипедом — свободой, которую можно было пощупать руками, в отличие от той, за которую он потом так красиво выступал с трибуны.

Он закрыл глаза. В бункере стояла тишина — та самая, в которой, может быть, стоило бы наконец пожить честно, без грима и софитов.

Не стал.

Вместо этого выглянул в щель двери — не снимает ли кто это на телефон. Привычка. Актёрская. Даже в конце света хочется, чтобы было кому аплодировать.

А за стеной стояла тишина. Та, которую он так и не услышал. Ни тогда, на лавочке. Ни потом, на кухне с Толяном. Ни сейчас.

Никогда.

МНЕНИЕ ГРИГОРИЯ

(с трудом застенографировано при свете одной лампочки, экономия электричества в бункере — дело святое)

— Ну что я могу сказать... Жизнь — она как тот сериал про президента: начинается с шуток и гитары, а заканчивается в декорациях, которые почему-то перестали быть декорациями.

Если бы я тогда Толяна дослушал — сидел бы сейчас на

лавочке, с семечками, максимум воевал бы за место для парковки с соседом Петровичем. Но нет, выбрал бункер. Видимо, карма — она тоже драматург, и у неё паршивое чувство юмора.

Единственное, о чём жалею по-настоящему — так это о велосипеде Светки. Надо было у неё спросить покататься. Глядишь, и жизнь пошла бы по другим рельсам. Хотя какие рельсы, когда и колёс-то у меня никогда не было — только сцена и аплодисменты, будь они неладны.

Если там, наверху, ещё кто-то смотрит — спасибо за рейтинги. Хотя, чувствую, сериал всё-таки стоило закрыть после первого сезона.

Занавес. Свет гаснет. Табличка «Выход» почему-то тоже погасла — экономия.

Конец.

Глава 4 Пожиратель

«Пустота голодна всегда — в этом её единственное постоянство».

1. Голод

Он родился в семье настолько обыкновенной, что даже соседи по лестничной клетке забывали, как их фамилия, и здоровались просто — «сосед». Отец чертил детали для станков, которые страна давно разучилась покупать. Мать учила детей правилам, которые сама нарушала ещё до звонка с урока. На стене висел ковёр — не для тепла, для престижа, хотя престижа в этом доме набиралось ровно на один квадратный метр потёртой шерсти. Телевизор бубнил программу «Время», и время действительно шло — медленно, вязко, как очередь за чем-то, что обещали, но так и не завезли.

Мальчик хотел странного. Не велосипед, не приставку — он хотел справедливости. Это слово он произносил с придыханием, как произносят имя первой любви, не замечая очевидного: в отличие от любви, справедливость никогда не отвечает взаимностью, а чаще вовсе не отвечает.

Он рассуждал об этом на кухне — главном парламенте всякой советской и постсоветской семьи, где голосуют сами за себя, сами себе аплодируют и сами же выносят вотум недоверия соседям за стенкой. Он верил искренне. В этом и крылась его будущая беда: он, кажется, единственный во

всей округе верил по-настоящему — а значит, идеально подходил на роль человека, которому доверяют печать.

Внутри него, впрочем, жило не убеждение. Жила дыра — просторная, аккуратная, с лёгким сквозняком, который он по неопытности принимал за ветер перемен. Он называл её «стремлением к добру», не догадываясь, что это обыкновенный голод — на внимание, на значимость, на то, чтобы тишина перестала нащёптывать ему по ночам простую истину: ты — никто.

И он пошёл во власть. Не ради денег — боже упаси, он бы оскорбился такому предположению. Ради того, чтобы заполнить дыру чужими аплодисментами. Самый дешёвый строительный материал для ремонта души, как показала практика, не ремонтирует ровным счётом ничего — только расширяет трещину.

2. Первая взятка

Кабинет встретил его так, как встречает всякий казённый кабинет страны всякого нового жильца: портретом на стене, флагом в углу и креслом, которое скрипнуло с интонацией старого циника, повидавшего на своём веку десяток таких же идеалистов и проводившего их всех одинаково — молча.

Он сел. Покрутился. Улыбнулся — той самой улыбкой, которую отрабатывал перед зеркалом ещё студентом, свято веря, что улыбка способна изменить мир, а не просто замаскировать нервный тик.

Секретарша внесла чай — не в гранёном стакане, как по-

добавляет честному труженику, а в фарфоровой чашке с золотым ободком, будто намекая негромко: «добро пожаловать в касту». Он отпил. На языке осталась не заварка — осталось предвкушение, терпкое и сладкое одновременно.

В дверь постучали — уверенно, по-хозяйски. Так стучат люди, точно знающие: дверь откроется, потому что за это заранее заплачено.

Вошёл человек с папкой и улыбкой профессионального просителя — улыбкой, отшлифованной десятилетиями практики до зеркального блеска.

— Фёдор Сергеевич! Поздравляем. Мы в вас верили.

Говорил красиво, подлец. Хоть в учебник по риторике для коррупционеров средней руки.

На стол лёг конверт. Белый, аккуратный, скромный — как первая исповедь грешника, ещё не знающего толком, в чём каяться.

— Это на нужды. На ремонт. Чтобы вы не отвлекались на мелочи и думали о главном — о народе.

Фёдор посмотрел на конверт так, как смотрят на икону в музее атеизма — с любопытством пополам с ощущением, что вот-вот свершится маленькое, тихое кощунство.

— Это что? — спросил он для порядка, зная ответ лучше, чем «Отче наш».

Рука потянулась сама, будто давно репетировала это движение в темноте. Конверт оказался тёплым — то ли от долгого ношения во внутреннем кармане чужого пиджака, то ли

от предвкушения, своего собственного, не менее тёплого.

Что-то щёлкнуло. Не совесть — щёлкнул выключатель, которым гасят свет в комнате, где свет больше не требуется.

Конверт лёг в ящик стола — туда, где до этого лежали такие же конверты от предшественника и где будут лежать от преемника. Традиция. Почти институт, не хуже Академии наук, только с более стабильным финансированием.

Гость удалился, не хлопнув дверью, — воспитанный всё-таки попался коррупционер.

Фёдор взглянул на часы. Двадцать минут. Ровно двадцать минут понадобилось, чтобы идеалист превратился в статистику. Рекорд, достойный книги Гиннеса в номинации «Скорость нравственного падения, облегчённая категория».

Он улыбнулся — уже не своей улыбкой. Чужой. Видимо, выданной в комплекте вместе с креслом и конвертом, как бонус за подписку.

3. Эйфория

С этого дня он сделался богом районного, а затем и областного разлива. Богом в двубортном костюме, с модным галстуком и телефоном на двух сим-картах — на случай, если один бог окажется недоступен.

С просителями он говорил медленно, будто разъяснял таблицу умножения умственно отсталым котяткам. «Я подумаю» звучало в его устах приговором без права апелляции, «Это не ко мне» — отлучением от церкви, «Это мелочи» — индульгенцией, которую он сам себе же и выписывал.

Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, с видом Зевса, которому принесли жалобу на непогоду — мелко, недостойно внимания, но забавно понаблюдать, как смертные суетятся.

Он не слушал — он безупречно изображал слушание, а это, как известно всякому чиновнику с хоть каким-то стажем, высшая форма бюрократического искусства, которой не учат в институтах, зато в совершенстве овладевает каждый, кто хоть раз согрел это кресло.

Взгляд его стал пустым, как касса на обеденном перерыве. Он видел не людей — он видел бумаги, свои собственные руки и бесконечный, уютный горизонт собственной значимости, простирающийся ровно до стен кабинета.

4. Лариса

Жена его, Лариса, была женщиной мудрой — в том особом смысле, в каком мудры люди, однажды и навсегда решившие больше ничего не знать.

Она целовала его по утрам так нежно, как целуют банкомат перед снятием крупной суммы. Говорила «люблю», подразумевая «спасибо за шубу». Закрывала глаза добровольно — ведь закрытые глаза, как выяснилось, прекрасно уживаются с открытым кошельком.

Но однажды утром она застыла у зеркала. Надолго. Смотрела не на себя — на то, во что её постепенно переделали. Шубы. Кольца. Машины. Дом, похожий на выставочный зал. Всё было на месте. Не было только одного — глаз, в которых

хоть что-то отражалось бы, кроме обстановки.

Она отвернулась. В комнате повисла тишина — та самая, которую она так и не расслышала. Та, в которой, возможно, можно было бы начать жить заново. Она не стала. Отвернулась и пошла выбирать серьги к ужину.

Фёдор не испытывал к ней ничего — ни любви, ни раздражения. Только смутную благодарность за то, что хотя бы один человек в радиусе досягаемости не задаёт вопросов, на которые пришлось бы придумывать ответы.

5. Пацаны

Сыновья, Кирилл и Владимир, росли, как растут комнатные растения в элитной оранжерее: без особого участия хозяина, зато с идеальным, выверенным поливом.

Отец вкладывал деньги — они отвечали улыбками для семейных фотографий. Он дарил гаджеты последней модели — они дарили фотографии с этими гаджетами для соцсетей, с аккуратно подписанными геотегами. Идеальный обмен, устраивающий обе стороны: никто никому ничего не должен, кроме следующего перевода.

6. Кирилл (друг)

Друг детства Кирилл прилип к нему намертво — явление столь же неотделимое от всякой русской власти, как банный лист от спины.

Лысый, с бегающими голубыми глазками, которые искали не собеседника, а то, что плохо лежит, — профессиональная деформация взгляда, вырабатываемая годами близости к чу-

жой кормушке. Классический шакал при тигре: сам не охотится, зато безошибочно чувствует момент, когда тигр насытился и можно без риска подбирать объедки.

Он не просил — он умел ждать. Усаживался в кресло и ждал, пока Фёдор сам предложит, потому что просить, по его тонкому разумению, было унижительно, а ждать — давно и привычно.

— Слушай, Фёдор, — говорил он, поигрывая сигаретой. — А помнишь, в детстве мечтали? Про яхту, про рыбалку, про то, чтобы жить, как люди.

Он не говорил «остановись». Он говорил «а давай новую яхту», «а давай на рыбалку, куда без тебя соваться запрещено», «а давай девочек на выходные». Он был голосом совести наоборот — голосом уютного, удобного беспринципства, который, как ни горько признать, звучит куда слаще настоящей совести.

И Фёдор слушал. Не потому что хотел — потому что привык. Потому что рядом был кто-то, кто не спорит. Кто не смотрит в глаза слишком пристально. Кто говорит именно то, что хочется услышать, и ровно тогда, когда это особенно нужно.

7. Жор

Он ел. Бюджеты, откаты, тендеры — всё утекало в одну бездонную прорву, деликатно именуемую «потребностями государственного человека».

Голод не насыщался — он рос вместе с аппетитом, как в

дурной сказке, где чем больше хлебаешь волшебную кашу, тем сильнее сосёт под ложечкой.

Сначала были конверты. Потом — счета в банках с приятным, тёплым круглогодично климатом. Потом — квартиры, похожие на музеи, только без билетов для посторонних и без экскурсоводов. Потом — острова, на которых даже пальмы, казалось, числились на чьём-то балансе.

Тело его раздувалось в унисон аппетитам. Лицо оплыло, глаза утонули в складках благополучия. В зеркале он видел уже не себя — он видел иллюстрацию к учебнику «Чем заканчивается безнаказанность», том второй, с цветными вклейками.

8. Работяга

Однажды в приёмную вошёл человек с мозолистыми руками и глазами, ещё не разучившимися верить в справедливость, — вид по нынешним временам почти вымирающий, занесённый бы в Красную книгу, если бы такие книги писали честно.

Он просил не за себя. За тех, кто остался без завода, без зарплаты, без смысла вставать по будильнику.

Говорил тихо. Не уверенно и не громко — тихо, как говорят люди, заранее знающие, что их не услышат, но продолжающие говорить, потому что молчание для них равносильно смерти, причём медленной.

Руки у него были жёсткие, в трещинах и мозолях — руки, которые всю жизнь работали, кормили, строили. В этих ру-

ках помещалась правда, грубая и неудобная, та самая, смотреть на которую Фёдор отвык задолго до того, как получил на это официальное право.

Он смотрел сквозь просителя, как смотрят сквозь витрину магазина, в котором давно не собираются ничего покупать.

— Я подумаю, — произнёс он с привычной интонацией человека, который не думает уже много лет подряд.

Работяга ушёл, всё ещё веря. Вера, как известно, умирает последней — особенно у тех, кому терять, собственно говоря, больше нечего.

9. Сделка

Он одобрил сделку. Не подписал — просто кивнул, как кивают официанту, заказывая очередное блюдо в ресторане, где всё меню составлено исключительно из чужих судеб, поданных под острым соусом необходимости.

Оружие ушло по контракту. Контракт — в сторону террористов. Террористы — в сторону городов, которых скоро не станет. Всё — просто бизнес, как любят повторять те, для кого слово «бизнес» давно весомее слова «просто».

Он не почувствовал ничего. Пустота, как выяснилось, превосходный анестетик — куда надёжнее любого наркоза.

10. Война

Война случилась — не потому, что он жаждал крови. Потому, что голод, разросшись до определённых размеров, перестаёт различать, чем именно питаться.

Он просматривал сводки, как просматривают биржевые

котировки — с холодным, профессиональным интересом к цифрам, забыв, что за каждой цифрой стоит улица, дом, чья-то утренняя чашка чая, так и не допитая хозяином.

Слёз не было. Слёзы — непозволительная роскошь для тех, кто ещё способен на что-то надеяться.

11. Бункер

Серые стены. Тусклая лампа. Тишина — та самая, от которой он бежал всю жизнь, настигла его наконец в самом надёжном из всех убежищ.

Он не вспоминал мать, двор, друзей детства. Он горевал о квартире, о гараже с коллекцией автомобилей, о красотках, которых больше не будет. Голод оплакивал не людей — он оплакивал буфет, из которого его бесцеремонно выставили.

Он смотрел на свои руки — те самые, что когда-то держали учебники, затем — конверты, затем — рычаги, решавшие чужие судьбы одним движением подписи.

Он так и не понял, что был не жертвой обстоятельств, а их самым добросовестным соавтором — соавтором, заслуживающим отдельной строки в титрах.

Он закрыл глаза. Тишина вошла в него наконец полностью — бесплатно, впервые в жизни без конвертов и без откатов.

МНЕНИЕ ФЁДОРА СЕРГЕЕВИЧА

(запись с диктофона, при свече, в бункере — жанр, можно сказать, образцовый для современной отечественной исповеди)

— Ну что сказать... Я хотел помогать. Честно хотел. А

взял — через двадцать минут. Даже чай не успел допить. Смешно, правда? Хотя нет — не смешно. Просто быстро. Рекордно быстро.

Я так и не понял, где именно начался конец. Может, с конверта. А может, ещё раньше — с той самой дыры внутри, которую я всю жизнь пытался заткнуть чужими аплодисментами, как затыкают пробоину мокрой тряпкой.

А теперь что? Бункер. Свеча. Диктофон. И тишина, которую я всю жизнь так старательно боялся услышать.

Похоже, она меня всё-таки дождалась. Терпеливая, зараза.

Конец.

Глава 5 Комиссар Вейцман

КОМИССАР ВЕЙЦМАН¹. Книги

Квартира пахла так, как пахнут все квартиры, где когда-то кипела великая вера, а потом скисла — позабытое на подоконнике молоко. Пыль, старое дерево, нафталин и — чуть-чуть — безнадёга, вьёвшаяся в обои прочнее никотина.

Отец — бывший политрук. Бывший агитатор. Бывший человек, у которого когда-то горели глаза на партсобраниях так, что соседний ряд шурился. Теперь глаза потухли, зато исправно слезились от лука и телевизора. По вечерам он сидел с газетой, будто надеялся найти там ответ на вопрос, куда подевалась его молодость вместе с партбилетом. Не находил. Вздыхал тяжелее, чем вздыхает старый холодильник перед смертью. Переворачивал страницу.

Мать — учительница, вооружённая красной ручкой, как Фемида — весами, только справедливее: у Фемиды хоть повязка на глазах, а мать видела всё, включая прыщ на подбородке у Петрова с третьей парты.

— Женя, не горби спину! — это было её главное программное заявление на сегодня, завтра и, в целом, на обозримое будущее.

Про Маркса она не говорила никогда. Про суп — с частотой, достойной отдельной политической партии. Суп был надёжнее идеологии: он, по крайней мере, не предавал и не

разочаровывал на двадцать седьмом съезде.

На полке стояли они. Тяжёлые, золочёные, пыльные исполины — Ленин, Маркс, Энгельс. Богатыри корешков, затмевающие даже сервант с хрусталём. Отец их не трогал — ни с благоговением, ни с ненавистью, ни даже с лёгкой обидой. Просто стояли, как бывшая жена, с которой давно развёлся, но делить сервант и квартиру не стал — пусть живёт тут, не мешает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.